

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Поправка доктора Осокина (Уральские рассказы)

Рассказ впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1885, № 12. При жизни писателя переиздавался в составе «Уральских рассказов». В ЦГАЛИ хранятся черновые варианты II и III глав рассказа.

В журнальной публикации философия доктора Осокина (V глава) дана была полнее, чем в последующих изданиях.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы»/ издание четвертое, М., 1905, т. III.

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0018
III.....	.0035
IV.....	.0053
V.....	.0069

Доктор Осокин долго мешал ложечкой чай в своем стакане и потом проговорил довольно грубым тоном:

— Знаешь, что я скажу тебе, Матрена? Ты ужасноходишь на трихину...

— Как на трихину? — обиженно удивилась Матрена Ивановна, вскакивая с дивана. — Ты, Семен Павлыч, кажется, совсем сбесился.; Я очень хорошо знаю, что такое трихина: этакий беленький червячок, который живет в ветчине. Только трихина тонкая, а я, кажется, слава богу...

В подтверждение своих слов Матрена Ивановна не без грации повернулась под самым носом доктора всею своею круглою фигуркой и даже показала ему свои белые, пухлые, маленькие ручки, которыми немало гордилась, хотя в качестве акушерки должна была бы иметь руки вроде клещей. Дряблое и пухлое лицо Матрены Ивановны тоже было совсем круглое, и на нем пытливо, с каким-то детским любопытством светились два крошечных голубых глаза, точно вставки из выцвет-

шей бирюзы.

— Конечно, трихина, — настаивал доктор, ероша свои коротко остриженные седые волосы. — Что такое трихина? Трихина есть злокачественный паразит, который губит животных одним существованием в них, а ты заражаешь людей ядом своего неизлечимого пустословия. Утешением для тебя, Матрена, в этом случае может служить то, что против трихины медицина не знает никаких средств лечения, следовательно, они могут существовать совершенно безнаказанно...

— Ну, пошел городить... А еще все считают умным человеком!.. Тьфу!.. Умный человек!..

— Конечно, умный, а то как же?

— Ну, уж извини, голубчик, а по-моему, у тебя, Семен Павлыч, не ум, а умишко, да и того еле-еле хватает, чтобы отвесить дерзость... Старый петух, и больше ничего!

Доктор Осокин слушал с завидным спокойствием, как Матрена Ивановна ругалась с ним, и, по-видимому, был даже очень доволен, посасывая длинную трубку и на время совсем исчезая в облаках белого дыма. Ему всегда доставляло удовольствие дразнить

Матрену Ивановну, которая иногда ругалась с ним до слез. В таких случаях Матрена Ивановна ненавидела до глубины души самую фигуру доктора — его широкие плечи, сильные, волосатые руки, эту большую стариковскую голову, красивую какую-то старческой красотой, наконец самодовольное выражение докторской рожи. В пылу негодования она иногда ругала его дураком или подлецом, а доктор продолжал оставаться невозмутимым и только изредка позволял себе улыбнуться, именно позволял, потому что, как Матрена Ивановна была убеждена, манера держать себя у доктора была вся деланная и вымученная, своего рода кокетство поддельно-умного человека.

— Умный человек! — не унималась расходившаяся Матрена Ивановна, размахивая своими коротенькими ручками. — Это все наши пропадинские дамы придумали: «умный, умный!..» Жену судьи Берестечкина в одном белье принял. Как же, помилуйте, приезжает к нему дама за советом, а он и выкатил даже без халата... Хорош, нечего сказать!

Доктор и теперь сидел по-домашнему: в ха-

лате, в туфлях на босу ногу и с расстегнутым воротом ночной рубашки; это был его обычный домашний костюм. Но Матрена Ивановна не обращала внимания на некоторую свободу докторских одежд и всегда говорила своим бесчисленным знакомым: «Э, батенька, я и не такие виды видывала!»

— Полагаю, что я могу у себя дома жить, как это мне нравится, — отцеживал доктор, — и не желаю себя стеснять... Удивляюсь только, зачем ко мне шлятся некоторые люди, которым я советовал бы лучше сидеть дома и читать псалтырь.

— Как это остроумно, Семен Павлыч... просто великолепно!.. Остроумие военного писарька перед горничной...

Описываемая нами сцена происходила в большой и высокой комнате, которая доктору Осокину служила приемной, гостиной и всем, чем хотите. Она была совсем пустая, за исключением деревянного дивана, ломберного стола и нескольких стульев. Давно не беленные стены были покрыты полосами паутины, на полу везде лежали узоры от грязных собачьих лап, захватанные двери имели самый

жалкий вид, как в какой-нибудь казарме. Теперь на столе красовался давно не чищенный самовар с зелеными потеками и самая сборная посуда, так что

Матрена Ивановна только морщилась и пожимала своими круглыми плечами, разливая чай.

— Меня просто в восторг приводит твоя глупость, Матрена, — говорил доктор, допивая стакан. — Необыкновенно редкий экземпляр, хотя вообще все женщины не отличаются особенным умом... Какое-то вечное полудетское существование, а потом детская старость. Взять хоть тебя, Матрена, ведь безобразна ты, как сморчок, а ведь туда же, еще кокетничаешь... Ну, скажи на милость, не глупо все это?

— Это уж не тебе понимать, Семен Павлыч... да. Конечно, я теперь старуха, а тоже было время, когда ваш брат, мужчанишки, бегали за мной, ручки у Матрены Ивановны целовали.

— Отчего же ты замуж не выходила за одного из этих бегавших за тобой дураков? Ведь в этом все назначение женщины...

— Замуж?.. Я замуж?.. Никогда! На других-то смотреть тошно, довольно я нагляделась, как бабы мучаются из-за вашего-то брата... Я девушка, да-с!

— Старая девка?

— Пусть.

— Христова невеста?

— Пусть.

По обыкновению, они рассорились. Матрена Ивановна заявила, что ее нога больше никогда не будет в докторской квартире и что она знает себе цену. Скажите, пожалуйста, какая знаменитость: доктор Осокин... ха-ха! Всякий кулик на своем болоте велик. Оказалось, что Матрена Ивановна была знакома с настоящими столичными медицинскими знаменитостями, которые берут по сто-рублей за визит. Да-с, а то какой-то доктор Осокин, который корчит из себя великого человека... Нет, это положительно смешно, и если бы Матрена Ивановна умела писать, она так бы расписала этого докторишку, что не поздоровилось бы.

— Да одно то сказать: старый холостяк... тьфу! — ораторствовала Матрена Ивановна,

несколько раз порываясь выйги из комнаты. — Я еще понимаю, если женщина не выходит замуж, а мужчина...

— Что же в этом позорного?

— Очень просто: значит, ты человек без сердца или потерял всякую способность быть настоящим мужчиной.

Доктор провел по своей седой щетине рукой и задумчиво улыбнулся.

— Когда я служил в Саратове военным врачом, — заговорил он, раскуривая потухшую трубку, — когда я служил в Саратове, все дамы находили, что я имею сердце, и даже очень горячее.

— Нашел чем похвалиться... Саратовские дамы!.. Знаю я их; они по всей Волге только тем и славятся, что умеют отлично ловить блох.

Эта выходка Матрены Ивановны рассмешила доктора, хотя в следующую за смехом минуту он и раскаялся за свою слабость: Матрена Ивановна села на стул и даже развязала ленту своей шляпки с желтыми цветами, что в переводе означало желание просидеть еще час у доктора.

— Нет, мы рассудим все дело начистоту, Семен Павлыч, — говорила она, наливая себе чашку холодного чая. — Если бы я была царем, я всех бы этих подлецов-холостяков женила первым делом... да. Уж я это Отлично понимаю все, пожалуйста, не спорь!.. Что такое девица, по-твоему, Семен Павлыч, а?

— Очень мудреный и глупый вопрос.

— Девица — несчастный человек, вот что нужно сказать. Первое, она должна быть молода и красива, а девичья красота продолжается как раз от шестнадцати до двадцати четырех лет, а тут уж собачья девичья старость начинается. Так? Ваш-то брат, мужчанишки, даже очень хорошо это понимают. Ну, значит, у девицы восемь красивых годков, и должна она себя в это время пристроить, а ежели совестливая-то да деликатная девица, так это даже весьма трудно по нынешнему времени. И в самом-то деле, девица серьезный разговор с молодым человеком начинает, а кругом шушу: жениха барышня ловит... Ну совестливая-то девица и плюнет. Тоже ведь и гордость своя есть... Да и много ли у нас женихов-то, ежели вот наше захоlustье взять, тот же го-

род Пропадинск? Глядишь, девка и завяла, а жить бы ей, жить надо, да еще как жить-то. Глаз у вас, у подлецов, нет... Халда которая, та скорее выскочит замуж, или вдова какая, потому что они свободное обращение имеют с мужским полом. Правду говорю, Семен Павлыч, истинную правду. Вы вот все науки произошли, а только, что под носом у вас делается, этого вот не видите. Много хороших девиц этим манером из-за своей совести пропадает, а другая терпит-терпит, да за первого прохвоста и махнет...

— Я-то при чем же тут?

— Ты? А вот ты первый во всем виноват, кругом виноват... К этому и речь веду, голубчик Семен Павлыч. Вы ведь ученые, с вас и первый спрос. До седого волоса учитесь. А какое ваше мужское положение? Как ветер, гуляй из стороны в сторону, и никакого тебе запрету нет. Ты еще вот в гимназии учился, а уж всю женскую часть произошел: и барынька податливая попалась, и смазливая горничная, и так сбегает вечерком в хорошее место. Всего насмотришься и вот досюда (Матре-

на Ивановна указала на свою короткую шею) доволен... Знаю я, как вы по столицам-то высшее образование получаете: другой приедет домой-то в чем душа. Ну выучился, поступил на службу и пошел разбирать: та девушка нехороша, эта хороша, да приданого нет, третья и с приданным и с красотой, так образования не имеет или не может свободно ученые ваши разговоры разговаривать. Можно разбирать-то из-за готовых харчей: тут около дамочек свое удовольствие получишь, там экономку какую-нибудь развертную возьмешь, к арфисткам съездишь песенку послушать. Хорошие-то девушки вянут да вянут у себя по теремам, а ты свинья свиньей живешь, да еще порядочным человеком себя считаешь. «Я, говорит, смотрю на жизнь философски. Конечно, семейная жизнь с гигиенической стороны имеет за себя большое преимущество, но пойдут хлопоты, дразги, недостатки, — тут уже не до науки». Это в тебе твое свинство говорит, Семен Павлыч, а не наука. Ну, таким манером и ты достукаешься к пятидесяти годам до своей собачьей старости.

— Этаким у тебя язык, Матрена... Ну и буду

старым холостяком, никому до этого дела нет. Твоей совестливой девице даже лучше, что я ее обманывать не буду.

— Ах, какой ты глупый человек, Семен Павлыч!.. А деточкито, ангелочки-то? Что у тебя? Кабак, псарня какая-то (Матрена Ивановна торжествующе обвела комнату глазами)... Пустота, грязь, мерзость. Вон там у тебя кабинет, там спальня, а в той комнате... что у тебя в той-то вон комнате, налево, позабыла я?

— Там собаки живут.

— Да, да... собаки! Тьфу ты, окаянная душа... А комнаткато какая...

Матрена Ивановна отправилась в комнату налево, отворила дверь и долго стояла на пороге, покачивая своею головой. Эта комната выходила двумя окнами прямо в сад и была совсем пустая, только на полу на соломе спала глухая сука Джойка.

— Ох-хо-хо, хорошенькая комнатка! — вздыхала Матрена Ивановна. — Вот тут бы у тебя и жила старшая твоя дочь. К стенке бы кроватку поставить, в углу этажерочку, тут комодик, письменный столик, — отличная бы

комнатка вышла. Пошел бы вот эдак на службу куда, а сам бы и прислушался, что, мол, моя Саша делает теперь? Глядишь, и забота была бы, не до свинства тогда. То Саше ботинки новые нужно, то Саша нездорова, то Саше книжку умненькую надо прочитать, да объяснить, да показать, да научить... А Саша бы, глядишь, к отцу бы приласкалась, свеженькая да чистенькая такая, как первая весенняя травка. Так я говорю?

Доктор давно не слушал свою собеседницу и сидел, опустив голову. Трубка потухла, чай давно стоял холодный, в комнате было уже темно.

— Штой-то это как я заболталась с тобой, — спохватилась Матрена Ивановна, горошком вскакивая со стула. — Ночь на дворе, а я к холостому мужчине забралась. Прощай, Семен Павлыч.

— Прощай, трихина.

— Петух старый!

Оставшись один, доктор долго сидел в темноте. Он все хотел раскурить трубку, но как-то забывал каждый раз и опять задумывался. На улице уже горели фонари; где-то громыха-

ли по избитой мостовой дребезжащие дрожки. В комнату вошла любимая собака доктора, ирландский сеттер Нахал; он ткнул хозяина холодным носом в руку, повилял пушистым хвостом и, не дождавшись обычной ласки, отправился в комнату больной Джойки.

— Ах, да, комната старшей дочери, — вспомнил доктор, прислушиваясь к шагам собаки, и горько улыбнулся.

Вечером доктор долго не ложился спать и со ввечкой в руках несколько раз обошел всю свою квартиру, из комнаты в комнату, и внимательно рассматривал свой холостой беспорядок, точно он видел все это в первый раз. Доктору сделалось вдруг как-то жутко: из каждого угла на него смотрело его одиночество и то холостое свинство, о котором говорила Матрена Ивановна. Единственная комната в доме, пахнувшая жильем, был докторский кабинет, — шкафы с книгами, медицинские инструменты, разные препараты, письменный стол, заваленный книгами, бумагами и покрытый пылью и табачным сором. Спальня была совсем пустая комната с кроватью посредине. Доктор спал, вместо матраца, на

мешке с сеном, которое менялось каждый день. В комнате Джойки доктор пробыл особенно долго. Это был великолепный кофейный пойнтер с глазами цвета горчицы; у Джойки был маразм, единственное лекарство от которого — смерть. Умная собака, кажется, сама понимала свое положение и как-то виновато смотрела на хозяина своими слезившимися глазами.

.— Плохо, Джойка, — проговорил доктор, щупая сухой нос собаки.

Джойка сделала усилие, уперлась задними ногами в солому, вытянулась и проползла несколько шагов, но больше не могла и только печально вильнула хвостом. Нахал, со свойственным своему юношескому возрасту эгоизмом, не желал понимать происходившей сцены и все лез к доктору, тыкаясь к нему в колена своею рыжею шелковой головой.

— Экая дура эта Матрена, — вслух проговорил доктор, лаская Нахала. — Единственный верный друг у человека — это собака. Так, Джойка?

Уездный город Пропадинск совсем не был таким захолустьем, как отзывалась о нем Матрена Ивановна; напротив, это был очень чистенький и бойкий городок с двадцатитысячным населением, развитою промышленностью и тем особенным бойким складом жизни, каким отличаются все сибирские города. Правильные, широкие улицы, обстроенные каменными и деревянными домами, вытянулись параллельно течению маленькой горной речонки Пропадинки. Издали вид на город был очень красив: чем-то свежим и оригинальным веяло от этой пестрой кучи домов, садов, церквей, общественных зданий, дач и заимок. Трудно было даже разобрать, где кончался собственно город, потому что заимки и дачи уже входили в черту города, а затем почти в центре зеленою шапкой высилась небольшая лесистая горка, служившая местом для общественного гулянья. Из общей массы строений выделялись, как громадные заплаты, четыре городских площади и целый ряд громадных каменных домов казарменной

архитектуры времен Александра благословенного[1]; это были палаты разных заводчиков и золотопромышленников. Половина этих дворцов стояла пустая и медленно разрушалась, потому что владельцы или разорились, или вымерли, или проживали где-нибудь в столицах и за границей.

Самое блестящее время существования Пропадинска были сороковые годы, когда здесь бойко развернулись золотопромышленники, заводчики и горные инженеры. Особенно прославились фамилии золотопромышленников Гуськовых и Ефимовых, прогремевших на всю Россию, за ними выдвинулись купцы Светляковы, откупщик Хлыздин, винокуренные заводчики БарчГржеляховские и т. д. Пропадинск зажил бойко и размашисто, как умеют жить только в Сибири, а затем как-то вдруг золото «отошло» в другие места, и жизнь вошла в свою обычную колею. Вместо диких миллионов выступили на сцену туго сколоченные капиталы, промышленники и предприниматели нового пошиба.

— Ничего, светленько-таки пожили... всячины бывало! — любила вспоминать Матре-

на Ивановна, еще помнившая самый развал пропадинского благополучия. — Гуськов-то, Михайло Платоныч, очень даже умел себя показать: протер глазки-то своим миллионом, немного от них осталось наследничкам-то... Свой театр имел, как же, полный оркестр музыкантов и даже хотел настоящий цирк из Италии выписать, да умер скоро. Когда выдавали Евлампию-то Михайловну, вторую дочь от первой жены, так один фейерверк стоил пять тысяч, а сколько было посуды перебито на свадьбе, сколько платья испластано на гостях — и не сосчитать.

— Зачем же платья на свадьбе рвали, Матрена Ивановна?

— А от радости, ангел мой, от радости. Это уж такое дикое купеческое обыкновение: ежели все благополучно с невет стой, сейчас все в клочья. Была я на свадьбе-то, так и меня чуть было не ободрали до ниточки. До настоящего сраму дело доходило: подбежит сам-то Михайло Платоныч к какой даме и сейчас за ворот да до самого подола все платье на ней и разорвет, а сам плачет от радости...

У Матрены Ивановны был свой домишко,

стоявший на Соборной улице, рядом с запустелыми хоромами разорившихся богачей Ефимовых; он выходил на улицу всего тремя небольшими окошечками и выкрашенным в серую краску деревянным подъездом, над которым красовалась большая синяя вывеска: «Экзаменованная повивальная бабка (Sage-femme[2]) М. И. Пупышкина». Домишко был старый, держался, кажется, только на своей деревянной обшивке, но Матрена Ивановна не желала ни починивать его, ни строить новый, потому что «на мой-то век и этого хватит, а с собой не' возьмешь». Собственное помещение Матрены Ивановны заключалось в трех крошечных комнатах, набитых ло самого потолка разную старинную мебелью, точно это была лавка со старыми вещами.

— Все подарки от моих пациентов, — объясняла Матрена Ивановна любопытным. — Если самим что-нибудь из мебели надоело, сейчас Матрене Ивановне и подарят. А я все беру, потому что зачем обижать добрых людей? Конечно, все это хлам, ну, а как умру, так разные неблагодарные племянники найдут место всему.

В приемной комнате стоял диван карельской березы, над ним висело неуклюжее зеркало в тяжелой раме красного дерева с вычурной золотой резьбой по углам, перед диваном красовался круглый чугунный стол, по сторонам дивана стояли какие-то две необыкновенные тумбы, раскрашенные под мрамор; пузатый ореховый комод, бюро без двух ящиков, несколько старинных кресел и стульев дополняли эту обстановку. Конечно, на полу были ковры, на диване лежала расшитая шерстями и бисером подушка; столы, комод, тумбы, спинки у кресел и дивана были завешаны вязаными «филейными» ковриками и салфеточками. В задней комнате Матрена Ивановна, собственно, только спала и там же стояли ее сундуки с разным добром, да еще большой посудный шкаф, в котором хранилось, кажется, все достояние бойкой старушки.

— Буду старая, так негде будет взять-то, — говорила Матрена Ивановна, когда кто-нибудь из знакомых упрекал ее в скупости. — Сирота ведь я; голодом и холодом насидишься с добрыми-то людьми, а мне вон еще для

Поленьки нужно промышлять.

В подвальном этаже домишка Матрены Ивановны проживала в особой каморке бывшая пропадинская знаменитость — Поленька Эдемова. Примадонна и первая красавица, сводившая с ума весь город, теперь даже не имела угла, где могла бы приклонить свою старую голову, и если бы не Матрена Ивановна, примадонне пришлось бы умирать на улице. Теперь Поленьке было под шестьдесят; она носила темненькие шерстяные платья, вязаную косынку на шее и какую-то фантастическую наколку на голове. Полное, обрюзглое лицо Поленьки казалось старше своих лет, хотя глаза еще сохранили блеск и все зубы были целы; седые волосы она завертывала какою-то пуговкой на самом затылке. Держала себя Поленька крайне неровно, чем постоянно огорчала Матрену Ивановну, очень «легкую» на гнев и на милость. Часто, глядя на Поленьку, Матрена Ивановна удивлялась про себя, странная эта Поленька: то как будто простая и славная, а то вдруг какую-то гордость на себя напустит, начнет капризничать, вообще делается такую фаль-

шивой и неприятной. Эти припадки обыкновенно случались при ком-нибудь постороннем. «Ну, опять бес поехал на нашей Поленьке! — махнет только рукой Матрена Ивановна. — Ведь уж старуха, а все еще ломаться да представляться надо перед добрыми людьми».

Матрена Ивановна не хотела понять этих вспышек пережившего себя тщеславия: в Поленьке каждый раз мучительно умирала та знаменитая актриса, которую когда-то все носили на руках, а потом просто хорошенькая женщина, привыкшая быть красивой. Это была настоящая драма, и Поленька делалась уж-дый раз больна после своих капризов. Она обыкновенно запиралась на несколько дней в свою каморку и никого не принимала, даже Матрену Ивановну. Комнатка была крошечная и выходила единственным окном во двор. Впрочем, у Поленьки, ничего и не было, кроме какой-то необыкновенной кровати красного дерева; это было целое архитектурное сооружение, преподнесенное ей в дни ее славы самим Михайлом Платонычем Гуськовым. Необыкновенно низкая и широкая, эта

знаменитая кровать была украшена высокими спинками с самою причудливою резьбой. По углам сидели золотые амур, прицеливавшиеся стрелами друг в друга. Несмотря на все превратности своего существования, Поленька сохранила эту кровать за собой и желала умереть на ней. В дни уныния и печали, запершись на крючок, она отодвигала в кровати широкий ящик и надолго погружалась в рассмотрение его содержимого. Весь сор и пепел, какой несет за собой театральная слава, теперь сосредоточивался в этом ящике; тут были засохшие букеты, цветы из венков, широкие шелковые ленты с разными надписями, пожелтевшие и выцветшие портреты, целые кипы стихов, вороха записок, страстных посланий, нежных объяснений в любви и просто безграмотной дичи, которую могла писать и понимать одна любовь. Целый угол занимали пустые футляры от разных ценных подарков, и Поленька очень дорожила именно этими футлярами; их ценное содержимое давным-давно перешло в цепкие руки разных закладчиков, но она могла хоть читать потемневшие золотые надписи на этих футля-

рах. Так, на футляре из-под аметистового кольца была надпись: Единственной от города Пропадинска; на фермуаре: Победительнице от побежденных; на бриллиантовой броши: Волшебнице от Гуськова; дальше следовали: Несравненной красоте от клуба приказчиков, Моему божеству от майора Передерина, От ослепленных красотой горных инженеров, и т. д., и т. д. Это были подарки общественного характера, где больше щеголяли футлярами, а самые ценные вещи были помечены какою-нибудь одной буквой, числом или годом. Золотопромышленник Гуськов и откупщик Хлыздин соперничали перед Поленькой Эдемовой дорогими подарками, и каждый оставался в убеждении, что именно его одного Поленька Эдемова и любит.

«Господи, куда же все это девалось? — в каком-то ужасе иногда думала Поленька, перебирая воспоминания прошлого. — Гуськов разорился и давно умер, Хлыздин тоже, Ефимов сошел с ума... Другие все: кто умер, кто замаливает старые грехи, а кто на старости лет последнюю совесть позабыл».

Поленька иногда чувствовала себя ка-

кою-то тенью самой себя, а жизнь казалась ей тяжелым сном. Правда, она оживлялась, когда разговор заходил о прошлом и когда можно было отвести душу хоть с тою же Матреной Ивановной, которая знала всю подноготную Пропадинска, как свои пять пальцев.

— И куда что девалось, ума не приложу, — рассуждала Матрена Ивановна, попивая кофе с Поленькой. — Прежде-то, прежде какие, например, девицы бывали!., а?

— Я то же самое говорю, — соглашалась Поленька, — что-то как будто нынче их не видно, разве из молодых кто выберется.

— Нет, прежде-то: Евлампия у Гуськовых, Евпраксия, своячина Хлыздина, Лидочка и Капочка у Ефимовых, у протопопа Катонина целых три дочери, генеральша Отметышева, заседательша Голубкова... Одна лучше другой, одна краше другой!.. Помнишь, как протопоповские дочери на гитаре играли, а заседательша Голубкова русскую в шароварах и в шелковой рубахе отхватывала?.. Мне больше всех Евлампия Гуськова нравилась: брови густые, как два соболя, глаз серый с искорками, грудь, как у богини, а руки какие у ней бы-

ли!.. Тройкой правила, как ямщик, а рука точно вся выточена до самого плеча!

Кутила она после-то сильно... Ох-хо-хо!.. И все-то старые-старые сделались, брюзжат, да стонут, да кашляют... Одни, видно, мы с тобой, Поленька, остались! Право, если с молодыми-то сравнить, так мы еще, пожалуй, того...

— А Машенька Оаетлякова, Эммочка Бодман, говорят, красавицы? — сомневалась Поленька.

— Машенька Светлякова? Эммочка?.. Ха-ха!.. И это красавицы!.. Мошь какая-то немецкая: у Эммочки талия до пят, а у Светляковой спина как у стерляди... Знаю я их всех!.. Вот теперь много судейских барынь, у инженеров, у купечества, — все будто люди, а чтобы настоящая красавица — ни одной!.. Я их копчушками всех зову... право, настоящие копчушки. Да вот хоть теперь взять тебя: ведь уж ты старуха, Поленька, старый гриб, а, ей-богу, всех этих красавиц сложить вместе, так они одной твоей ноги не стоят. Ах, какие у тебя ноги, Поленька, были, какие ноги!.. Недаром Хлыздин шампанским их мыл да этим шам-

панским гостей поил.

При этой похвале Поленька краснела последним старческим румянцем и стыдливо опускала глаза.

— Я ведь тебе не буду льстить, матушка, — не унималась Матрена Ивановна, — я правду всегда ляпну... Только ты цены себе настоящей не знала и напрасно этим подлецам мужчанишкам доверялась. Так я говорю?.. Конечно, красотой особенной меня господь не наградил, но за одно благодарю моего создателя: ни одному мужчанишке никогда не поверила, а то, потзоему же, суму на шею надели бы, да и пустили по миру.

— Нет, это я сама виновата, Матрена Ивановна...

— И говорить не смей!.. Она же их и защищает... Позабыла, видно, как у меня жениха отбила?.. Стара вот я только стала, а то бы еще ничего, посчиталась бы с тобой... Ну-ка, скажи по совести, из-за кого я старою-то девкой осталась?

— Матрена Ивановна... оставьте... — глухо шептала Поленька, закрывая лицо руками. — Прогоните меня лучше, а не мучайте.

— Да я ж тебе в ножки поклонюсь за доброе дело, — смеялась Матрена Ивановна. — Кабы не ты, пропала бы моя головушка. Без ума сделалась я тогда...

Эти старые счеты заключались в том, что у Матрены Ивановны был жених, какой-то учитель Горорытский, а Поленька Эдемова, бывшая тогда на верху своей славы, расстроила это складывавшееся молодое счастье из-за какого-то шального пари, что отобьет жениха у некрасивой акушерки. Горорытский сразу попался на удочку. Поленька потешилась им несколько дней, а затем дала ему чистую отставку; учитель скоро спился и умер, а Матрена Ивановна осталась весталкой.

— Одно меня удивляет, — рассуждала Матрена Ивановна, впадая в задумчивое настроение, — откуда это зверство в человеке? Погубила двоих разом и не жаль... Я не в укор тебе говорю, Поленька, а только к примеру.

— Велико кушанье твой Горорытский! — возмущалась Поленька, увлекаясь воспоминаниями. — Помнишь, как горный инженер Блюдечкин застрелился из-за меня?.. Он меня сначала хотел убить...

— Да мало ли было дураков, всех не пересчитаешь... Сколько человек по миру пустила ты, Поленька, а уж сколько жены мужние пза тебя слез пролили да синяков износили. А я нет, не сержусь... Ну-ка, спой ты эту самую песенку, помнишь?.. Господи, что делалось в театре, когда ты, Поленька, романсы пела...

У Матрены Ивановны хранилась гитара, подаренная ей одною из дочерей протопопа Катонова, и она иногда любила поиграть на ней, припоминая * старину. Обыкновенно Матрена Ивановна аккомпанировала, а Поленька пела дребезжащим старческим голосом. Самым приятным воспоминанием для обеих старушек был старинный романс: «Собака верная моя». Когда Поленька пела этот романс, Матрена Ивановна горько плакала. Чтобы развеселить Матрену Ивановну, Поленька исполняла тоже старинную модную песенку про «Ванюшу-трубочиста», который был «лицом черен, но душою чист».

Вернувшись в последний раз от доктора, Матрена Ивановна долго не могла заснуть, ворочалась в своей постели, а потом не выдержала и спустилась к Поленьке, которая с

лампой сидела на своей кровати и вырезывала из бумаги лепестки искусственных цветов. Бывшая знаменитость любила эту работу, которая не мешала думать и в то же время доставляла удовольствие и маленький заработок.

— Была я у того, у медведя-то, — говорила Матрена Ивановна, с ногами забираясь на Поленькину кровать.

— У какого медведя? — равнодушно спрашивала Поленька, разглядывая издали только что собранную бланжевую розу. — Не правда ли, какая прелесть?

— Отстань, пожалуйста, с своими глупостями... А мне, право, даже жаль его сделалось!

— Кого жаль? — с прежним равнодушием спрашивала Поленька, продолжая любоваться своим произведением.

— Ах, какая ты глупая, Поленька! — вспыхнула Матрена Ивановна, окончательно обиженная невниманием. — Я же тебе рассказываю про Семена Павлыча.

— А... так бы и сказала. Опять поругались?

— Да ты слушай. Сначала-то чуть не разо-

дрались, а потом как я принялась его золотить, как принялась, ну, он и прикусил язык-то. Уж на что, кажется, дерзок, а тут замолчал... Знаешь что, Поленька? Мне кажется, что доктор очень несчастлив, очень, очень несчастлив!

— Может быть... не знаю...

Матрена Ивановна искоса взглянула на Поленьку и невольно подумала: «Ну и глупа же ты, матушка. Этакое дерево смолевое!» А Поленька как-то по-ребячьи продолжала любоваться своим цветком и, чтобы не огорчить Матрену Ивановну, напрасно старалась принять внимательный слушающий вид.

— Вот что я хотела тебя спросить, — продолжала Матрена Ивановна с самым невинным видом. — Ведь ты хорошо помнишь Семена-то Павлыча, когда он молодым приехал в Пропадинск?

— Доктора Осокина? — не без важности переспросила Поленька. — Как же, помню... Он еще когда-то ухаживал за мной и ужасно мне надоедал своими глупостями.

— Какими глупостями?

— Да разными. Мне тогда не до него было:

с одной стороны приставал Гуськов, с другой — Хлыздин, а тут еще этот доктор. Старик-то совсем сбесились: ревнуют меня к доктору, а я просто не знала, как с ним развязаться.

— Ты, кажется, думаешь, что и Семен Павлыч был влюблен в тебя?

— Не спорю, но что-то такое было.

Как Матрена Ивановна ни допытывалась, но Поленька решительно не могла вспомнить, что такое у ней было с доктором, — память изменила старой актрисе.

III

В Пропадинске доктор Осокин пользовался репутацией странного человека. Все были согласны, что доктор умный человек, и даже очень умный, но вдруг на него накатывался какой-то особенный стих, и доктор начинал блажить: то пациента обругает, то барыню до истерики доведет, то какой-нибудь такой фокус выкинет, что все ахнут. Нужно сказать, что было такое особенное время, когда все умные провинциальные люди обязательно чудили, и благодаря этому некоторые завзятые дураки до самой смерти пользовались репутацией умников. Странности доктора Осокина распadaлись на два разряда: странности постоянные и странности случайные. К первым относилось то, что доктор в гигиенических видах спал всегда на свежем семе, пил одну отварную воду, питался исключительно морковными пирогами, приготовленными для него по какому-то необыкновенному рецепту, зимой ходил в летней фуражке, летом в папаче, не признавал галстуков, из удовольствий допускал только одно — пойдет на двор, раз-

бросает поленницу дров, и совершенно доволен.

— Это мне заменяет музыку, — объяснял доктор на своем странном языке.

Как врач, доктор Осокин пользовался громадною популярностью, хотя всегда старался по возможности избегать частной практики, почему обращался с пациентами с необыкновенною грубостью, но последнее приводило как раз к противоположным результатам; самые нервные и жантильные барыни никому не хотели верить, кроме доктора Осокина. Они терпеливо выносили самые отчаянные докторские грубости, плакали, нюхали спирты, необходимые в таких случаях, давали клятву, что больше никогда не обратятся к этому грубияну, и при первом же случае опять посылали за доктором Осокиным. Рассказывали, что одну из своих восторженных пациенток доктор выгнал из своей квартиры прямо в шею, а m-me Берестечкину принял в одном белье.

В Пропадинске доктор жил больше тридцати лет, и жил «се время отчаянным холостяком. Докторская квартира служила прит-

чей во языцех, как редкий пример беспорядка и отсутствия всяких удобств жизни. Но доктор прожил в ней все тридцать Лет и, кажется, совсем не думал выезжать из нее. И прислуга у доктора была одна и та же: неизменно глупый лакей Авель, которого доктор держал из удовольствия назвать его первым человеком в мире, и старая кухарка Таисья, умевшая готовить только одни морковные пироги. Лошади доктор не держал, потому что иметь свою лошадь значило лишать себя величайшего удовольствия ходить по городу пешком.

— Это мне заменяет живопись, — объяснял доктор, когда ему советовали завести лошадь. — Помилуйте, ездить на лошади — это величайшее безумие и самый верный путь к насильственной смерти, а я этого не желаю и надеюсь прожить до ста лет.

С пропадинской публикой доктор как-то не сошелся и решительно ни у кого не бывал; у него тоже гостей было немного, и Матрена Ивановна являлась счастливым исключением. Трудно сказать, как произошло это знакомство и чем оно поддерживалось, тем бо-

лее что доктор был заклятым врагом женщин. Но Матрена Ивановна бывала у доктора почти каждую неделю и даже уверяла своих бесчисленных знакомых, что доктор Осокин скучает без нее.

— А что вы у него делаете, Матрена Ивановна? — допытывались наивные барыни.

— Чего делать-то? Чай пью... Как недели две не загляну к нему, каждый раз скажет: «А я уж думал, что ты, Матрена, издохла». Ну и я ему тоже не пирогами откладываю. А все-таки приятно с умным человеком поговорить, точно вот сама на целый вершок умнее сделаешься. Иногда часа два разговариваем.

— Душечка, Матрена Ивановна, говорят, доктор двадцать лет какое-то необыкновенное ученое сочинение пишет?

— Не хочу врать: не заметила насчет сочинения. А так книг разных действительно много, больше по нашей медицинской части. Ну, тоже инструменты разные, банки да склянки... А что он делает — прах его разберет. Просто сам перед собой умного человека разыгрывает... Это иногда бывает, болезнь такая есть, только позабыла я, как она по-латински

называется.

Весь Пропадинск был глубоко убежден, что доктор Осокин занимается чем-то необыкновенно ученым, потому что всегда в его кабинете огонь светился далеко за полночь. Но чем занимается доктор — осталось тайной, хотя и существовали на этот счет более или менее счастливые гипотезы: одни говорили, что доктор «пишет философию», другие — что занимается вивисекцией[3] или спиритизмом, третьи — что просто-напросто доктор пьет фельдфебельским запоем. Единственными свидетелями докторских занятий были его собаки, но и те не умели ничего рассказать, как и докторская прислуга.

— Чего ему делать-то, нашему барину? Обыкновенно, ходит из угла в угол до вторых петухов, вот и вся работа, — грубо отвечал Авель на все расспросы любопытных. — Сначала в книжку почитает, а потом примется бродить, как маятник... Даже страшно в другой раз делается: кто его знает, что у него на уме-то?

Общество своих собак доктор Осокин предпочитал обществу людей и с ними проводил

свое свободное время, когда хотел отдохнуть или развлечься. Он любил кормить их из своих рук и каждый день гулял с ними по городу часа два. Рассказывали настоящие чудеса про необыкновенный ум докторских собак, которые даже не играли с другими собаками, точно они стыдились своего глупого собачьего рода.

В сущности дело было гораздо проще. Доктор Осокин действительно занимался, и занимался очень упорно, и чем дольше погружался в свои занятия, тем сильнее увлекался ими. В далекой юности и он заплатил известную дань своему возрасту: пользовался удовольствиями, бывал в клубе, участвовал в любительских спектаклях, ухаживал за хорошенькими женщинами, а потом все это разом бросил и засел в своей квартире. Провинциальная жизнь, сосредоточивавшаяся около вина, карт и сплетен, действительно не интересовала доктора, и он с удовольствием променял ее на «дорогой хлеб науки». В полный расцвет силы доктор Осокин натолкнулся на одну интересную тему и разрабатывал ее с замечательной настойчивостью.

Его жизнь прошла не даром, и он с гордостью ученого смотрел на свой рабочий стол и рукописи. В самом деле, пока другие разменивались на мелочи провинциального существования, он, доктор Осокин, вращался в мире великих идей, теорий, гипотез и гениальных предчувствий. У него была своя идея, и он хотел приобщить ее к общей сокровищнице человеческого знания. Но гордость ученого-завоевателя и поэтические восторги раскрывавшегося вдохновения часто сменялись минутами апатии, сомнениями и даже отчаянием. Это были настоящие родильные муки, и доктор боялся только одного: самые сильные муки доставляют матерям мертворожденные дети, и его двадцатилетний упорный труд мог оказаться одним из тех ученых мыльных пузырей, которые рассыпаются радужною пылью при самом своем появлении. За минутами уныния следовало обыкновенно самое бодрое настроение, тот подъем духа, который доступен только творящей мысли, и в докторской голове сами собой складывались счастливые комбинации, логические обобщения, неожиданные выводы и совершенно но-

вые объяснения.

В этом образе жизни и занятий доктора находилось объяснение его отношений к Матроне Ивановне: напряженно работавшей мысли необходимо было известное развлечение, необходимо было спуститься с научных высот в действительный мир маленьких людей, крошечных интересов, мелкого тщеславия и невообразимой путаницы взаимных отношений. Матрена Ивановна служила лучшим образчиком маленького человека, и доктор изучал ее, как своего рода патологическое явление. Она постоянно удивляла его, и доктор, прищурив свои глаза, иногда долго-долго смотрел на нее в упор.

— Ну, чего ты на меня уставился-то? — рассердится Матрена Ивановна, начиная чувствовать себя неловко.

— А ты попробуй смотреть прищуренными глазами на когонибудь: человек делается все меньше, меньше и меньше... а потом просто получается какая-то букашка.

В описываемое нами время доктор уже предвидел конец своей работе: наступал давно желанный миг, когда он мог представить

свой труд на суд публики и пустить в оборот новую комбинацию идей. Мысль об этом торжестве захватывала дух у доктора, и он начал бояться, что вдруг умрет, не докончив самых пустяков. Какая-нибудь пустая случайность — и труд целой жизни может остаться недоделанным, а это равнялось его гибели.

«Уж не схожу ли я с ума? — задумывался иногда доктор, перелистывая главную рукопись, испещренную какими-то чертежами и математическими формулами. — Еще каких-нибудь полгода, и все будет кончено».

Так рассчитывал доктор, но вышло совсем иначе, и беда пришла с той стороны, откуда доктор уже никак не мог ожидать ее: она свалилась на седую докторскую голову с языка Матрены Ивановны. Да, эта безнадежно глупая женщина отравила существование доктора Осокина на целую неделю, и в его мозгу стучала все одна и та же фраза, брошенная Матреной Ивановной, конечно, совершенно бессознательно. Шагая по своему кабинету, доктор часто повторял: «Комната старшей дочери!.. Комната старшей дочери!» Матрена Ивановна именно так и сказала, и удивитель-

но, как все в этой фразе было сплочено: почему не сына, а дочери, и непременно старшей?

— Ведь это целый отдел жизни я просмотрел! — удивлялся доктор вслух. — Счастливая идея: жизнь в возможности. Да, именно этого у меня и не доставало! Получится совершенно новое освещение некоторых положений.

Параллельно с чисто научными соображениями шел другой порядок мыслей: доктор думал о самом себе и невольно оглядывался кругом. Всего удивительнее было здесь то, что доктор меньше всего когда-нибудь думал остаться старым холостяком, а между тем выходило так. Жизнь имеет свою логику, и положительно глупую логику. И чем дольше думал доктор на эту тему, тем больше удивительных мыслей приходило ему в голову, а всего удивительнее было то, что все эти мысли вертелись около роковой фразы Матрены Ивановны.

Следствием этой душевной работы явилась довольно странная выходка.

В одно «прекрасное утро» доктор вышел из своей квартиры и пошел, как обыкновенно делал, не к городскому предместью, а вдоль

Проломной улицы к центру города. Стояла осень, и везде городские улицы были залиты сплошной грязью, но доктор бодро шагал по переходам и сосредоточенно раскланивался с встречавшимися знакомыми, прикладывая руку к своей старой папахе. Миновав Проломную улицу, доктор вышел на Черный рынок, потонувший в непролазной грязи, а потом повернул в узкую Мучную улицу, набитую мучными лавками, крестьянскими телегами и целыми стаями голубей. Наконец, доктор очутился на Соборной площади, центр которой был занят старым гостиным двором. Пробегая глазами вывески, доктор бормотал: «Нет, не здесь...» Лавки с галантерейными товарами, колониальные магазины, торговля красным товаром, шорные лавки — все это было не то, что нужно было доктору.

— Ага, вон она где, — вслух проговорил доктор, читая розовую вывеску на углу дома, выходящего на Соборную площадь, — «Моды и платья m-me Раскеповой». Так... здесь...

Доктор благополучно переправился через всю Соборную площадь прямо к модному магазину и остановился только у каменного

крылечка, чтобы немножко перевести дух. Потом он грузно поднялся по каменным ступенькам во второй этаж, пролез через стеклянный фонарь и, наконец, очутился в самом магазине. Доктору Осокину никогда не случилось бывать в подобных заведениях, и он с любопытством рассматривал длинную комнату, выходящую тремя окнами на площадь. Около стен стояли шкафы с готовыми платьями, между шкафами тянулись лакированные деревянные полки, набитые синими картонками с выставлявшимися из-под крышек образцами лент, кружев и разных вышивок. На широком прилавке, в особых витринах красиво были разложены такие вещи, назначение которых он едва ли мог бы определить: накладки, куски лент, банты, косыночки, шарфики, крашеные перья, стеклярус, какие-то бронзовые погремушки и т. д. Небольшая полукруглая арка соединяла магазин с следующей комнатой, где весь пол был занят целыми ворохами различных материй. Из этого цветного облака на доктора любопытно смотрели бойкие личики молоденьких швеек.

— Чем могу служить вам, доктор? — спро-

сила певуче m-me Раскепова, появляясь в арке. — Вы, кажется, в первый раз у меня... Садитесь, пожалуйста.

— Да, у меня есть серьезное дело, — заговорил доктор, напрасно стараясь засунуть свою папаху между какими-то картонками. — Видите ли, мне необходим целый подбор таких вещей, которые необходимы каждой молодой девушке... Как это называется, позвольте... есть такое слово...

— Приданое.

— Да, да, именно приданое, — облегченно проговорил доктор и провел рукой по своим седым волосам. — Обратите внимание, что приданое нужно для молодой особы.

M-me Раскепова снисходительно улыбнулась:

— Разве приданое делают старухам?

Засмеялись маленькие швеи в соседней комнате, и даже улыбнулась бледная, худая девушка, стоявшая посередине комнаты в роли манекена; главная швея, некрасивая блондинка с злыми глазами, не могла улыбнуться только потому, что рот у ней всегда был занят булавками, которыми она прикалывала при-

меряемые на манекене платья.

— Вероятно, вам, доктор; приходится выдавать замуж племянницу или какую-нибудь бедную родственницу? — заметила m-me Раскепова.

— Н-нет... не совсем, — заметно смутился доктор и даже уронил своей папашой несколько картонок. — Есть одна молодая особа, очень близкая мне...

M-me Раскепова сделала сердитое лицо, строго подобрала свои крошечные губы и в коротких словах объяснила доктору, что нужно «-молодой особе». Затруднение вышло из-за роста, но доктор обещал доставить мерку.

— Вы представьте себе, ma dame, только одно, именно, что у этой особы решительно ничего нет, — объяснял доктор, поднимая седые брови.

— Потрудитесь также доставить номер перчаток, который носит эта молодая особа, а также мерку с ноги, — сухо объясняла m-me Раскепова с какою-то печальной торжественностью в голосе. — Наша обязанность — исполнять аккуратно и добросовестно всякие заказы.

Доктор совсем не заметил, как m-me Раскепова подчеркнула последнюю фразу; он смотрел «а эту полную важную даму с гладко зачесанными темными волосами доверчивым и улыбающимся взглядом; она ему нравилась, как нравился весь этот магазин, ленты, разбросанная по полу материя, улыбающиеся лица бойких швей. Все это было так ново для него и вместе с тем так отвечало именно его требованиям: здесь было решительно все, что ему нужно. M-me Раскепова терпеливо ожидала, когда, наконец, уйдет доктор, а он продолжал очень внимательно рассматривать всю обстановку магазина.

— А ведь это очень интересно, очень... — бормотал он.

— Да?

— Да... Вы, madame, вероятно, слышали о покровительственной окраске у животных и брачном оперении? Это именно относится к вашей специальности и даже могло бы служить очень полезным источником для некоторых указаний практического характера. Покровительственная окраска — это общий научный термин, хотя его понимают исключи-

тельно в смысле сохранения отдельных представителей вида, а брачное оперение служит в интересах дальнейшего продолжения этого вида. То же замечается в окрашивании цветов, хотя роль растений в этом случае совершенно пассивная: привлечь на себя внимание тех насекомых, которые переносят оплодотворяющую цветочную пыль. Только знаете, какая особенность: у животных в интересах продолжения вида покровительственную окраску принимают самцы, а у людей наоборот.

— Извините, доктор, мне некогда, — холодно заметила m-me Раскепова.

— Виноват, еще один вопрос: надеюсь, ваше дело идет очень бойко?

— Да, ничего, не могу пожаловаться.

— Не можете ли вы определить время года, когда особенно оживляется спрос на наряды?

— Конечно, зимой, доктор... Балы, семейные вечера, театр, вообще в это время мы завалены работой, особенно к большим праздникам.

— Странно... Опять специально человеческая особенность. Впрочем, это вполне понят-

но, потому что человек уже освободился от фатальной зависимости от климатических условий и создал искусственные формы жизни.

— Извините, доктор...

— Ухожу, ухожу... Мы еще побеседуем с вами когда-нибудь на эту тему.

— Не забудьте послать мне все мерки.

— Непременно, — бормотал доктор, наплевывая папаху на свою седую голову.

Не успел доктор затворить за собой дверь, как весь магазин покатился со смеху: величественно хохотала сама ш-ше Раскепова, схватившись обеими руками за колыхавшуюся полную грудь, главная швея даже корчилась от смеха, ползая по полу около хихикавшего манекена, до слез хохотали все мастерицы, швеи и самые маленькие девчурки, подававшие утюги и бегавшие по разным поручениям.

— Не угодно ли: молодая особа, у которой решительно ничего нет... — повторяла ш-ше Раскепова, поднимая свои жирные плечи. — Знаем мы этих особ!.. Ха-ха...

Вместе с т-те Раскеповой, кажется, смея-

лись все эти картонки с кружевами, ленты, вышивки, бантики, а висевшие в витринах готовые платья печально разводили своими пустыми рукавами.

IV

Весь Пропадинск заговорил о выходке доктора Осокина, так как м-ме Раскепова не поскупилась на краски и по-своему «осветила предмет». Дамы пришли просто в ужас и приписали все случившееся старческому безумию рехнувшегося доктора. Многие жалели, некоторые негодовали, остальные разводили руками или многозначительно мычали.

— Даже не счел нужным замаскировать свою распущенность, — повторяли негодовавшие дамы. — Мог все это устроить при посторонней помощи, как делают другие мужчины, когда экипировывают своих содержанок. А то заявился среди белого дня прямо в магазин: «У ней ничего «ет...» Очень хорошо!

— Мне было ужасно совестно перед своими девушками, — уверяла м-ме Раскепова своих заказчиц. — Помилуйте, так бесцеремонно объяснять разные гадости... И представьте себе, доктор всех вообще женщин называет птицами, а мужчин животными. — Как-то он это мудроно сказал.

Всех занимал в одинаковой форме вопрос:

кто эта таинственная молодая особа, у которой ничего нет и которая оказалась настолько близка докторскому сердцу? В почтенных семействах матери делали умоляющие лица, когда разговор заходил о докторе при молодых девушках; самое имя доктора являлось чем-то вроде заразы. Вообще город был скандализирован и оскорблен в лучших своих чувствах, и естественно, что все взоры устремились на Матрену Ивановну, которая одна бывала в докторской квартире.

— Хорош ваш приятель, — нападали дамы на Матрену Ивановну и укоризненно кивали головами. — Помилуйте, в каждом семействе есть взрослые девушки, и вдруг такой скандал... Ведь, главное, совершенно открыто все делается, назло всем общественным приличиям и общественному мнению.

— Сдурил старик, совсем сдурил, — соглашалась Матрена Ивановна и тоже качала головой. — Я это заметила в последний раз, когда была у него, и тогда же прямо в глаза ему все сказала.

— А вы не видали у доктора эту молодую особу?

— Позвольте, сударыня, вы слишком много себе позволяете: я девушка и таких вещей не понимаю, да. Да я после такого случая, если и на улице встречу Семена Павлыча, так не узнаю его... Извините, меня из-за него этак ни в один порядочный дом не пустят!

Одним словом, Матрена Ивановья отрезалась от доктора начисто и даже начала отпираться, что ходила к нему чай пить.

— Всего-то, может быть, раза два я у него и была, и то по своим медицинским делам, потому что с кем же посоветоваться?

Но от пропади неких дам было не так-то легко отделаться.

— Непременно тут кроется какой-нибудь роман, — твердили они в один голос. — Ведь вы давно знаете доктора, Матрена Ивановна; вероятно, раньше что-нибудь было такое...

— Роман?.. — прикидывалась Матрена Ивановна непонимающей и отрицательно крутила своею круглою головкой. — Нет, ничего похожего на роман не было. Просто жил доктор холостой свиньей, и только. Да и с кем роману-то быть?.. Прежде-то он, конечно, бывал везде: у Гуськовых, у Ефимовых, у прото-

попа Катонова, у заседателя Голубкова. Везде были девицы и дамы, только никакого романа и быть не (могло. Уж я это знаю и голову отдам на отсечение. Это вам везде романы мерещатся, а прежде строго было... Так уж, которая самая отчаянная, ну, те позволяли себе очень свободное обращение с мужчинами.

Как ни храбрилась Матрена Ивановна, но дамы довели ее до того, что почтенная старушка, наконец, сделалась больна: у ней открылась лихорадка и насморк. Матрена Ивановна пролежала в постели целых три дня, и Поленьке Эдемовой было м'Ного с ней хлопот: она натирала Матрену Ивановну всевозможными мазями, поила липовым цветом и даже вспрыскивала с уголька водой. Только на четвертый день Матрена Ивановна встала с постели и перешла на свое любимое место к окошечку, где стояло глубокое старинное кресло, подарок откупщика Хлыздина.

— Как будто поманивает меня кофию напиться, — задумчиво говорила Матрена Ивановна, поглядывая на улицу. — Думала, конец мой приходит, Поленька. И все мне этот проклятуший доктор мерещится...

Пока Поленька возилась с кофейком в своей каморке, Матрена Ивановна с любопытством смотрела на улицу, не проедет ли кто-нибудь из знакомых. Взглянув вдоль тротуара, Матрена Ивановна чуть не обмерла со страху: по тротуару прямо к ее домишку шел доктор Осокин в своей папахе. Матрена Ивановна хотела закричать, но у ней со страху перехватило горло, и она только закрыла глаза, как курица, над которой повар замахнулся ножом. Но Матрена Ивановна напрасно встревожилась: докторская папаха благополучно миновала ее. крылечко, а затем скрылась в воротах. Поленька наливала чашку кофе, когда в ее каморку вошел доктор; старая актриса слабо вскрикнула, и любимая фарфоровая чашечка Матрены Ивановны упала на пол.

— А я к вам зашел, — кротко проговорил доктор, останавливаясь в дверях, так что Поленьке не было никакой возможности убежать от сумасшедшего человека. — Одевайтесь и пойдете, мне очень нужно вас...

— Как же это так?.. Я не знаю, не лучше ли в другой раз! — лепетала совсем растерявшаяся

ся Поленька, закрывая шею худенькою косыночкой.

— Нет, сейчас, — настойчиво повторял доктор. — Я подожду вас здесь, в коридоре, пока вы оденетесь.

Сначала Поленька перетрусилась и даже подумала выскочить в окно, но потом опомнилась. Чего ей в самом деле бояться доктора, ведь сейчас выйдут на улицу, а там всегда народ, можно по крайней мере закричать караул. Она торопливо надела перекрашенное шелковое платье, старую шляпу с страусовым пером, накинула старенький бурнус и вышла в коридор, где доктор нетерпеливо шагнул в совершенной темноте.

— Вы мне позволите, доктор, зайти к Матрене Ивановне и предупредить ее?

— Это еще что за нежности? Вздор.

— Она больна...

— Ничего, не умрет.

Поленьке ничего не оставалось, как только покорно следовать за доктором, который повел ее на другой конец города к своей квартире, как догадывалась Поленька. Как вежливый кавалер, доктор шел позади своей дамы

и только коротко объяснял, куда нужно было повернуть, когда встречался перекресток. Так они благополучно дошли до самой докторской квартиры, и доктор был настолько любезен, что сам отворил дверь перед своею дамой и даже помог ей снять бурнус.

В приемной на столе ожидал гостью кипевший самовар, корзинка с сухарями и коробка конфет. Поленька окончательно смутилась и на случай запомнила выходную дверь, чтобы можно было убежать, а доктор молча указал ей на пустой чайник. Пока Поленька дрожащими руками заваривала чай, доктор тяжелыми шагами ходил по комнате и время от времени смотрел на нее. Она чувствовала на себе тяжелый докторский взгляд и еще сильнее смущалась. Доктор был в старом военном мундире и даже в крахмальной рубаше, которая, видимо, сильно его стесняла.

— Вы крепкий чай пьете или слабый? — решила, наконец, Поленька прервать тяжелое молчание.

— Крепкий.

Получив стакан, доктор в упор посмотрел на Поленьку и с расстановкой проговорил:

— Вы, по-видимому, очень бедствуете, сударыня... Да, этого следовало ожидать, и я несколько не удивляюсь...

Поленька вся вспыхнула и хотела что-то возразить, но доктор схватил её за руку и потащил к двери, которая вела в комнату Джойки. Распахнув дверь, доктор уступил дорогу своей гостье и с каким-то беспокойством осмотрел всю обстановку только что меблированной комнаты. Она была вся отделана заново: стены оклеены розовыми обоями, на окнах висели шелковые драпировки, на полу лежал персидский ковер, у одной Стены под шелковым пологом стояла красивая железная кровать, покрытая белым покрывалом, между окнами приютился дамский письменный стол, в углу стояла этажерка с книгами, у окна дамский рабочий столик; комод, гардероб и умывальник занимали угол комнаты и были замакированы низенькою ширмочкой. Везде были разложены в строгом порядке всевозможные вещи, необходимые в женском обиходе: туалетные принадлежности, альбомы, начатая женская работа, позабытая на окне соломенная шляпа и т. д.

— Кто же это у вас здесь живет? — удивилась Поленька, с любопытством рассматривая комнату.

— Кто здесь живет?.. Это комната нашей старшей дочери.

Поленька поняла все. Она страшно побледнела и едва могла дойти до своего стула за чайным столом. Доктор опять шагнул по комнате, и слышно было, как он тяжело вздохнул.

— Помните, Поленька, как тридцать лет назад вы играли в «Белой Даме»? [4] — заговорил доктор, усаживаясь на свое место к остывшему стакану.

Поленька молчала, опустив голову; по лицу у нее катились мелкие старческие слезы.

— Да, это было давно, очень давно, — продолжал доктор после короткой паузы. — Я тогда увидел вас в первый раз. На вас было простое белое платье, в волосах приколоты белая камелия... О, я все это отлично запомнил!.. Вы тогда пели замечательно удачно, а я был молод... Конечно, вы понимаете, что из всего этого могло произойти?

— Доктор, я помню... но я была так глупа... Вы ухаживали за мной, но ведь тогда целый

город сходил с ума от моей игры. Конечно, это было так давно, и кто мог бы ожидать... Вы что-то такое говорили мне, но я была еще так молода...

— Гм... да. И я тоже был молод и имел глупость думать, что двое молодых людей могли бы прожить недурно. Для меня это было ясно, как день, потому что... потому что я слишком любил вас. Да, теперь я это могу сказать вам в глаза, а вы тогда не желали меня понять... Нас разлучили ваши театральные успехи, тот чад, которым вскружили вашу голову. Это вполне понятно: я был беден, а вас окружали богатые люди. Каждая женщина на вашем месте сделала бы то же, что сделали вы... Наша непоправимая ошибка заключалась в том, что мы думали только о себе... Я не мог полюбить в другой раз, а вы разменяли свою молодость на мелкую монету.

Доктор закрыл лицо руками, и Поленьке показалось, что старик тихо плакал.

— Доктор, простите меня, — шептала Поленька, прикладывая белый платок к глазам, как это делают на сцене «благородные отцы». — Простите, доктор.

Эта фраза заставила доктора вскочить. Он как-то дико посмотрел на Поленьку, махнул рукой и застонал — глаза у него были полны слез.

— Нам следует просить прощения вот у той, которая должна была жить вот здесь, — глухо проговорил доктор, указывая на «комнату старшей дочери». — Мы убили своих собственных детей... Это страшная вина, которая не имеет искупления. Мне не дают покоя эти розовые детские лица... они стоят предо мной живые... О, я начинаю чувствовать, что схожу с ума!..

Доктор глухо за'рыдал и отвернулся к окну. Поленька не плакала, но как-то тупо смотрела на потухавший самовар, который время от времени пускал какую-то одинокую жалобную ноту; она чувствовала, что умирает, раздавленная этою ужасною сценой.

Было уже темно, когда Поленька вспомнила, что ей пора домой. Доктор отправился ее провожать и был настолько вежлив, что даже предложил руку. Они шли в*се время молча, и только когда уже подходили к домику Матрены Ивановны, доктор проговорил:

— Надеюсь, вы не придадите никакого особенного значения сегодняшней сцене... На жизнь нужно смотреть с философской точки зрения. Мы все являемся только материалом в руках слепых законов природы.

Поленька ничего не ответила, молча пожала руку доктора и молча скрылась в комнате. Доктор несколько времени стоял на тротуаре, а потом проговорил:

— Она глупа, как всегда.

Сначала доктор машинально пошел домой, но когда увидел свою квартиру, его точно оттолкнула какая-то сила: что он будет там делать? Его что-то давило, и он чувствовал, что задохнется в своей комнате. Нужно было воздуха, как можно больше воздуха. После доктор не мог хорошенько припомнить, как он провел эту ночь; он проходил по грязным улицам Пропадинска до самого утра и вернулся домой в самом отчаянном виде: весь в грязи, изможденный и без папахи. Авель даже испугался, когда увидел своего барина в таком отчаянном виде.

В эту страшную ночь доктор еще раз пережил свою личную жизнь. Он с мучительной

ясностью видел далекое прошлое, когда он только что приехал в Пропадинск молодым врачом. Тогда только что был открыт первый театр в городе, труппу для которого золото-промышленник Гуськов выписал на свой счет. Как новинка, театр привлекал к себе массу публики, и над всею этою публикой царила Поленька Эдемова, русоволосая красавица с удивительными глазами. Она была на опасной дороге, потому что слишком снисходительно относилась к окружающим ее шалопаям и богачам-самодурам. Доктор увлекся ею и хотел спасти красавицу. В ней были еще та простота и наивная свежесть молодости, которые могли служить залогом успеха. Поленьке нравилось, что за ней все ухаживают, и она всех дарила своими улыбками, а в том числе и молодого доктора.

Как теперь помнил доктор плохой деревянный театр, плохо намалеванный занавес, плохой оркестр и грязную сцену, куда он пробирался с замиравшим) сердцем. Уборная Поленьки была сейчас направо от сцены, нужно было только подняться на три ступеньки какого-то деревянного помоста. Здесь всегда

пахло свежеею краской, сальными огарками, свежим деревом и еще чем-то таким, чем пахнет только за кулисами провинциальных театров. Поленька была одна в уборной, совсем готовая к выходу на сцену, и в последний раз осматривала себя в зеркало, когда в уборную вошел доктор.

— Вы нездоровы? — спросила Поленька, взглянув на доктора.

— Да, мне необходимо с вами переговорить, — деловым тоном заговорил доктор. — Есть у вас свободных пять минут?

— Говорите, только скорее... сейчас занавес.

Доктор, торопливо подбирая слова, начал говорить об опасностях, окружающих всякую театральную знаменитость, о том печальном будущем, которым выкупаются эти успехи, и после этого предисловия прямо предложил свою руку и сердце.

Поленька точно испугалась и побледнела. Она несколько мгновений молча смотрела на доктора, потом откинула назад свою красивую русую головку и проговорила:

— Доктор, мне некогда, занавес...

— Это не ответ.

— Мне жаль огорчить вас, доктор, но я... я... одним словом, вы ошиблись во мне.

От отчаяния и тех глупостей, какие делают люди в подобном глупом положении, доктор спасся тем, что всею душою отдался науке. Он бросил завязавшиеся знакомства, отказался от общественной жизни и закупорился в четырех стенах своей квартиры, откуда показывался только по делам своей медицинской специальности.

Отказавшись от Поленьки, доктор совсем не думал отказываться от семейной жизни и только выжидал время, когда уляжется чувство к Поленьке, чтобы жениться с чистым сердцем на какой-нибудь простой доброй девушке и завести свое гнездо. Но год шел за годом", а на душе у доктора накупала какая-то ненависть к женщинам. Его радовало, когда он открывал какой-нибудь новый недостаток в женщинах. Конечно, Это — низшее существо сравнительно с мужчиной и никогда не выходит из потемок детского существования. В любви мужчины относятся к своим возлюб-

ленным именно как к детям, с тою обидною снисходительностью, которая является оскорблением в отношениях между собой мужчин. Это глупое детство у женщины переходит прямо в старость с ее бесплодными сожалениями, мизантропией и ханжеством. Пять — шесть лет своего ребячьего счастья женщина выкупает ценой всего остального бесцветного существования. Мужчина еще полон жизни, он в полном расцвете сил и рвется вперед, когда женщина продолжает жить только по привычке и сама начинает тяготиться своим бесплодным существованием. Разве женщина что-нибудь создала в науке или искусстве? Ей недоступны вершины человеческого сознания, и она умирает в потемках своего полусознательного существования.

Одним словом, доктор впал в мизантропию и тешил самого себя своими выходками против всех женщин на свете.

Вернувшись от доктора, Поленька серьезно захворала. Теперь пришлось ухаживать за ней Матрене Ивановне. На сцену опять явились таинственные мази и липовый цвет. Отвернувшись к стене, Поленька иногда потихоньку плакала, но Матрена Ивановна видела заплаканные глаза и возмущалась.

— Погоди, уж я рассчитаюсь с этим мерзавцем, — грозилась Матрена Ивановна, не называя доктора по имени.

— Нет, он славный, — защищала Поленька доктора.

— Хорош, очень хорош!

Матрена Ивановна имела полное право ожидать, что Поленька расскажет ей все, что с ней случилось, но Поленька упорно молчала и только тяжело вздыхала. Конечно, всякий другой на месте Матрены Ивановны спросил бы Поленьку прямо, что и как, но Матрена Ивановна прежде всего была гордая женщина и совсем не желала залезать в чужую душу. Кроме того, для Матрены Ивановны половина дела была совершенно ясна:

доктор Осокин был кругом виноват, и она с ним разделается по-своему.

Когда Поленьке сделалось лучше и она могла обходиться без посторонней помощи, Матрена Ивановна первым делом, конечно, отправилась к доктору, вперед предвкушая удовольствие рассчитаться с этим извергом человеческого рода. Занятая своими размышлениями, Матрена Ивановна незаметно дошла до докторской квартиры. Двери были не заперты, как всегда, и Матрена Ивановна свободно проникла в докторскую приемную. Первое, что ее поразило, это холод давно нетопленной квартиры и какая-то особенная пустота.

— Эй, Семен Павлыч, где ты? — окликнула Матрена Ивановна, оглядываясь кругом.

— Здесь, — послышался глухой голос из кабинета.

Доктор лежал на старом клеенчатом диване, одетый в старую военную шинель и в летней фуражке. Матрену Ивановну поразило его больной вид: это был какой-то другой человек, желтый, испитой, с темными кругами под глазами и лихорадочным) взглядом.

— Ты это что же, старый петух, тараканов, что ли, морозишь? — набросилась на него Матрена Ивановна.

Доктор быстро поднялся с дивана и как-то испуганно замахал обеими руками.

— Тише, тише... шшш! — зашипел он, как защищающийся гусь. — Она еще спит...

— Очень мне нужно, кто у тебя спит... мерзавка какаянибудь.

— Ради бога, тише, — умолял доктор. — Она поздно встает.

Доктор на цыпочках вышел в приемную, тревожно посмотрел на дверь заветней комнаты и знаком пригласил Матрену Ивановну следовать за собой. Он приотворил дверь и показал глазами на обстановку комнаты. На кровати лежала Джойка и виновато виляла своим пушистым хвостом. Матрена Ивановна не знала, на кого ей смотреть: на комнату, на собаку или на доктора.

— Здесь живет моя старшая дочь, — проговорил доктор с серьезным лицом.

— Полно тебе, Семен Павлыч, добрых-то людей морочить...

— Спроси Поленьку, если не веришь: это

наша дочь.

Матрена Ивановна вдруг испугалась, испугалась того спокойного тона, каким доктор разговаривал с ней. В голове Матрены Ивановны мелькнула страшная мысль, и она, чтобы успокоить самое себя, рассчитанно-громким голосом спросила:

— Так... А где у тебя Авель-то?

— Авель?.. Он ушел... Деньги у меня украл и ушел.

— Да ты, послушай, не морочь, Христа ради... это с морковных пирогов у тебя ум за разум заходит. Если Авель деньги украл, так почему ты его в полицию не отправил?

— Зачем в полицию? Я вчера лежал на диване, Авель вошел в кабинет, вытащил деньги из стола и ушел... Я все время смотрел на него. Он все это очень ловко сделал и, кажется, думал, что я сплю. Ему, вероятно, очень были нужны деньги.

— Нет, ты, батюшка, рехнулся... положительно рехнулся. Сколько денег-то было?

— Тысячи две было.

— Ах, боже мой, боже мой!

Доктор, кажется, не хотел ничего пони-

мать и только несколько раз пощупал свою голову, точно сомневался в ее благополучном существовании.

— Спятил, совсем спятил, — решила Матрена Ивановна и совсем растерялась, не зная, что ей следует предпринять.

— Пойдем в кабинет, я тебе покажу что-то, — проговорил доктор.

Доктор долго рылся на своем письменном столе между бумагами и, наконец, отыскал объемистую тетрадь. Матрена Ивановна следила за ним, не спуская глаз. Она больше не сомневалась, что доктор сошел с ума. И «а чем человек помешался!

— Вот эта самая, — говорил доктор, похлопывая рукой по тетради. — Двадцать лет работы посажено в нее... да. Могу сказать, что первый строго математическим путем доказал истину неуничтожаемости силы и материи. Матрена, есть только одна точная наука, это математика, и вот я воспользовался ею.

— Ну, ну, почитай, что у тебя написано тут.

— «Закон неуничтожаемости жизни», — прочитал доктор 'заглавие рукописи. — Да ты поймешь ли что-нибудь?

— Пойму, пойму... читай.

— Я тебе прочту только конец. Только на днях удалось закончить... «Неуничтожаемость силы и материи пользуется репутацией вполне научно-установленной истины, — начал чтение доктор, — хотя доказательства этого положения вращались в сфере слишком грубых явлений внешнего мира. Мне первому, при помощи высшей математики, выпало счастье доказать эту грубую эмпирическую истину строго научным путем. Полученная формула в полном своем объеме выражается так: настоящий запас циркулирующих и комбинирующих во вселенной сил и материи плюс весь запас органической жизни равняется всему запасу сил и материи, действовавших от начала мира и слагавшихся в необозримо пеструю амальгаму отдельных явлений. Запас силы и материи остается тот же, но этот делящийся в необозримом пространстве веков «плюс нарастающая органическая жизнь» с роковой силой прорывает заколдованный круг неизменного круговращения силы и материи; прогресс является именно в пределах этой разрастающейся органической

жизни, а не в смене чередующихся комбинаций и развивающейся поступательно способности дифференцироваться. Этот плюс в своем бесконечном повторении превращается, наконец, в знак умножения. Таким образом, за внешним миром вечно слагающихся и разлагающихся сил и «материй» вырастает тот неизмеримо больший внутренний мир самых сложных и неуловимо тонких проявлений деятельности, который выдвигается далеко за пределы уничтожаемости сил и материй».

Доктор тяжело перевел дух, положив рукопись на стол. Матрена Ивановна сконфуженно смотрела куда-то в угол и перебирала рукой какую-то оборку на своем платье.

— Ну, Матрена, кто из нас сумасшедший? — спрашивал доктор, раскуривая папироску... — Читать дальше?

— Читай, Семен Павлыч.

— Хорошо... Только пользы тебе немного будет.

— Ладно, после успеем поругаться-то.

Докурив свою папироску и откашлявшись, доктор продолжал чтение своей рукописи. «А

«свербящая похоть славы», окрыляющий жар молитвы, чистые восторги первой любви, муки уязвленного самолюбия, вечно томящая жажда неудовлетворенной жизни, насильственное заглушение законнейших требований человеческой природы, что это такое? Где мы будем искать тех математических равнодействующих, когда в этом необъятном океане человеческой скорби, мук и страданий крошечная человеческая радость исчезает, как утопающий в океане человек? Разве математическая формула, самая точная и гениальная, может непосредственно спасти бедняка от страдания, общество от нравственной неурядицы?»

— Но тут, — заговорил доктор, откладывая в сторону свою рукопись, — явилась новая поправка. До сих пор дело шло о фактах и явлениях существующих, бралась действительность, но есть целый ряд жизненных явлений, где эта жизнь затаилась и приняла омертвелые формы. В большинстве недостает ничтожных пустяков, какой-нибудь случайности, чтобы именно здесь-то и вспыхнул огонь накопившейся жизни, чтобы разверну-

лась роскошная форма нового существования, — как считать эти дремлющие силы, жизнь в возможности? А между тем не считать их нельзя, потому что на них затрачена огромная энергия, может быть в них-то и проявлялись бы высшие формы существования.

Матрена Ивановна качала головой и делала вид, что начинает понимать доктора.

— Вот, например, у меня есть семья, дочь в возможности... Я вижу ее, да, ее, мою дочь; она приходит сюда, разговаривает со мной... Удивляюсь, как это раньше я не мог догадаться: ведь она все время жила со мной, вернее сказать, во мне... И как мне хорошо делается, как легко... Это высшее счастье, какое доступно человеку, именно жить повторенною жизнью, быть молодым во второй раз и чувствовать, что вот именно ты не умрешь, а будешь жить только в новой, лучшей форме.

Слушая этот бред, Матрена Ивановна плакала.

У доктора Осокина оказалось тихое помешательство, то, что в психиатрии известно под именем *idée fixe*[5] Конечно, старик уже не мог заниматься частной практикой, а

жить между тем было нечем. Матрена Ивановна напрасно разыскивала родных доктора по всей России и кончила тем, что взяла его к себе.

— Уж мне заодно с ними двоими нянчиться, — говорила Матрена Ивановна. — Все-таки в доме мужчинка будет...

В солнечные ясные дни часто можно встретить на улице сумасшедшего доктора, который в своей папахе задумчиво шагает по тротуару и вслух разговаривает с самим собою.

Примечания

...времен Александра благословенного — относящийся ко времени царствования (1801—1825) Александра I.

[^^^]

Акушерка (франц.).

[^^^]

3

Вивисекция — операция на живом животном с целью изучения функций организма и причин различных заболеваний

[^^^]

4

...вы играли в «Белой Даме» — «Белая дама» — популярная опера французского композитора Буальдьё Франсуа Андриена (1775—1834).

[^^^]

5

Навязчивой идеи (франц.).

[^^^]